

ВЕЛИСЛАВА ЧЕРНОВА

ТРИЗНА
СТОРОЖА

Серия: Хрошки Мёртвых Тоней · Книга 8

Велислава Чернова

Тризна Сторожа

<https://litres.ru/74384884>

SelfPub; 2026

Аннотация

На Смоленщине под расширение карьера вскрыли Долгие Курганы — шестьдесят четыре насыпи, к которым село восемьдесят лет боялось подходить. Наутро на главном кургане нашли первого мёртвого: вдавлен в землю, кости переломаны, во рту глина, вокруг иней в тёплую ночь. Следователь Дмитрий Корнеев, ставший Хранителем Границы, приезжает с травницей Василисой и годовалой дочерью. Он ищет живого: чёрных копателей, ряженого, хозяина карьера, сектанта с бубном. Но версии рассыпаются, а смерти идут не по злобе, а по описи — за каждой вещью, взятой из кургана в сорок четвёртом году. И самое страшное в этом деле подписала не деревня, а знахарка, которая когда-то расплатилась за село живой девочкой.

Содержание

Предисловие	4
Глава 1. Гостья с костяной ногой	15
Глава 2. Дорога на юго-запад	33
Глава 3. Первый на кургане	54
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Тризна Сторожа

Предисловие

Про курганы в деревнях говорят коротко и мимо.

Спросишь у старика, что за холмы вон там, за выгоном, длинной грядой, поросшие бурой травой и редким сосняком, — и старик посмотрит куда угодно: на свои сапоги, на небо, на телёнка у плетня. Скажет: бугры. Или: волотовки. Или совсем нехитро — а вон те горбы. И сразу переведёт разговор на сено, на дождь, на то, что автобус опять не пришёл. И ты подумаешь, что он просто не знает. Что деревенская память коротка, что за войной и колхозом всё позабылось, что холмы для него — просто рельеф, неудобье, место, где косить трудно, а пахать нельзя.

А он знает. Знает лучше любого учёного, и вот именно потому не говорит.

Учёный знает про курганы то, что можно записать: тип насыпи, обряд, датировку, инвентарь. Он придёт с рулеткой, разобьёт квадраты, снимет дёрн тонкими пластами, зачистит совком, сфотографирует, начертит, опишет, увезёт в фоновые ящики. Он сделает всё правильно и не соvrёт ни в одной строке. А деревенский старик знает другое, то, что записать нельзя, потому что записанное — уже не то. Он знает, куда нельзя ходить в сумерках. Он знает, что на бугры не гоняют

скот, потому что скот сам не идёт, упирается, мотает головой и норовит вернуться. Он знает, что там нельзя рубить сосну на дрова, даже сухую, даже упавшую, даже когда зима и топить нечем. Он знает, что если ребятня притащит с бугров что-нибудь — черепок, зелёную пуговку, железку — надо отобрать и отнести назад, а лучше выкинуть за околицу и трижды сплюнуть. И знает, отчего так, но об этом уж точно не скажет.

Курган — не могила. Это первое, чего не понимают приезжие.

Могила — это место, где кончается человек. Место грусти, ухода, оградки, крашенных яиц на Радоницу. Могила смотрит в сторону живых: приходите, поминайте, помните. У могилы человеческая память как продолжение человеческой жизни, тёплая и понятная.

Курган смотрит в другую сторону. Курган — это дверь, которую хотели закрыть навсегда, и потому заложили сверху землёй, много земли, тысячи возов земли, носили на носилках и в подолах, всем родом, целое лето, чтоб хватило веса. Курган — это не «здесь лежит», это «здесь заперто». И запирали не от воров. Воров тогда пугать было нечем: у кого сила, тот и брал. Запирали от того, что внутри. От того, что уходило туда с покойным вождём и не хотело уходить: его конь, его пёс, его сила, его гнев, его люди, его слово, его право брать чужое, — всё то, что делало его страшным при жизни и не перестало быть страшным после.

А чтобы дверь держалась, к ней ставили сторожа.

Об этом в учёных книгах пишут скупно и осторожно: сопутствующее погребение, вероятная человеческая жертва, костяк без инвентаря в периферийной части насыпи, положение нехарактерное. Так пишут, потому что иначе пришлось бы написать словами, а словами это звучит так: с покойным хозяином в землю положили живого человека, чтобы он стерёг. Не убитого прежде, а именно живого, потому что мёртвый не сторожит, мёртвый сам нуждается в стороже. Опускали в яму, ставили рядом воды и хлеба на первые дни — не из жалости, а по правилу, — и засыпали. И самое важное: не называли имени. Ни при жизни последней, ни после. Имя стирали. Потому что тот, у кого есть имя, может однажды услышать, как его зовут, — и уйти. А безымянный не уйдёт никуда и никогда. Безымянный остаётся на службе.

Вот что такое сторож курганный. Не мертвец, восставший от обиды. Не упырь, что берёт кровь по родовому счёту. Не утопленник, не заложный, не бродячая нежить, которую надо ловить и упокоивать. Сторож — это должность. Служба. Он поставлен и не может уйти с поста, покуда его не сменят или покуда не отпустят по имени, которого у него нет. И он не мстит. Мстит человек. Сторож взыскивает.

И взыскивает он по описи.

Это отдельная жуть, к которой не сразу привыкает даже тот, кто много лет ходит по границе. Всякая другая нежить берёт наугад, по злобе, по голоду, по случаю: кто ближе, кто

слабее, кто ночью один вышел за двор. А сторож ведёт счёт вещам. Что вынесено из-под насыпи — то курганово. Одна вещь — один долг. Взял ты сам, купил, выменял, унаследовал от деда, не знал, не спрашивал, лежала в комоде под скатертью восемьдесят лет и считалась бабкиной брошкой, — сторожу это безразлично. Он не разбирает вины. Он сверяет наличие. И приходит туда, где вещь, и стоит над домом ночь, и на другую ночь входит.

Потому в старину говорили: с курганного бугра не поднимай ничего. Хоть золото, хоть черепок, хоть косточку. Потому что курган не грабят наполовину. Возьмёшь ржавый гвоздь — и ты уже в описи.

А ещё говорили другое, и это было важнее всех запретов: курган надо кормить.

Не бояться — кормить. Раз в год, в поминальный день, ходили всем миром на бугры, приносили хлеб, кутю, кисель, яйца, мёд, ставили на насыпь, кланялись и говорили простые слова: лежите тихо, мы вас помним, вот вам от нас, а нам от вас ничего не надо. Это называлось тризна. Не праздник, не пьянка, а именно кормление мёртвых, старейший на свете договор живых с землёй: мы помним — вы лежите. И договор этот держался тысячу лет и держался не молитвой, а привычкой: пришли, положили, поклонились, ушли. Скучно, буднично, как выгнать корову или починить прясло. Мистики в этом было не больше, чем в том, чтобы платить за свет.

А потом кормить перестали.

Это происходило везде и почти одинаково, и в этом не было ни чьей особенной злобы. Умерли те, кто ходил. Уехали те, кто помнил, зачем ходить. Пришли годы, когда за поминальный обход на языческих буграх можно было получить выговор, а можно было и не только выговор. Пришла война, и стало не до тризны, потому что своих, свежих, не успевали хоронить по-людски. Пришли трудодни, потом асфальт, потом телевизор, потом пустые дворы с провалившимися крышами. И вышло так, что бугры стоят, а никто к ним не идёт, и уже никто не помнит, что не идти — это тоже поступок. Что молчание — это тоже действие. Что неуплата — это долг, и долг растёт.

Так и лежала эта гряда в излучине смоленской реки Вихры, шестьдесят четыре длинных насыпи в урочище Волотовки, между полем и старым ольшаником, восемьдесят с лишним лет непокормленная, недоглаженная, забытая как раз настолько, чтобы про неё можно было написать в бумагах: объект археологического наследия, состояние — удовлетворительное, угрозы отсутствуют.

Бумаги ввали, конечно. Угрозы были.

Про сторожа в этих краях помнили обрывками, как помнят слова песни, которую пели в детстве, а взрослыми уже не поют.

Помнили, что он большой. Не в том смысле, что великан из сказки, ростом до сосны, а в том неудобном смысле, в ка-

ком бывает велик человек, если смотреть на него снизу, из ямы: слишком широкий, слишком тяжёлый, заслоняющий небо. Про него говорили — волот, и от этого слова пошло название урочища, а от урочища и села. Волот, волотовка, Заволотье. Так в русском языке остаются следы того, о чём давно запрещено говорить прямо: в именах речек, полей и оврагов, которые мы произносим не думая.

Помнили, что он босой. Это, кажется, самое частое, что рассказывали шёпотом: следы босых ног там, где никакой босой человек в октябре не пойдёт. Огромные, вдавленные в глину на два вершка, с растопыренными пальцами, и всегда — от насыпи в село и обратно к насыпи, никогда мимо, никогда в сторону леса.

Помнили, что за ним идут другие. Их называли навьи — старым словом, которого нынче не найдёшь ни в одном деревенском разговоре, а в старых говорах оно жило долго: навьи, навье, навий день. Не души и не привидения. Свита. Те ни тех, кто лёг в насыпь вместе с хозяином: отроки, возчики, псари, конюхи. Сами по себе они пустые, как порожние рукавицы, они не думают и не хотят, они только шелестят и холодят. Но там, где прошли навьи, к утру находили траву, побитую морозом, в тёплую ночь, узкой полосой, будто кто протащил по ней невод.

И помнили главное, но уже не как знание, а как оговорку, как присловье, смысл которого стёрся: «курганово не носи в дом». Так говорили, если кто приносил с поля непонятную

железку. Так дразнили жадных. Так пугали ребятню. Из настоящего запрета сделалась поговорка, из поговорки — шутка, а из шутки, как всегда и бывает, ничего.

Здесь надо сказать несколько слов о том, кто в этой книге ходит вдоль такой границы и по каким правилам.

Хранители Границы — не орден и не братство. Их вообще не бывает много: на большую область один, а бывает, что и ни одного, и тогда область живёт как умеет, и по ней ходят слухи про озеро, которое каждое лето берёт по человеку, и про дом, где не живут, и про дорогу, на которой глохнут машины. Хранителем не назначают. Хранителем становятся по крови, как становятся травницами и повитухами в старых родах, или по цене — если человек однажды заплатил за границу столько, что она признала его своим. Работа их проста и невыносима: следить, чтобы то, что положено лежать, лежало, а то, что положено помнить, помнилось. Договоры, уговоры, долги, сроки. Хлеб на порог, соль на подоконник, имя, названное вслух в нужную минуту. Ничего героического. Больше всего это похоже на обязанности сельского электрика: пока всё работает, его не замечают, а когда где-то замкнуло — идти в темноту с фонарём приходится ему.

Есть у этого ремесла и свой профессиональный порок, и в этой истории он окажется важнее любой нежити. Хранитель привыкает считать. Считать людей, беды, сроки и цены. И рано или поздно перед ним встаёт вопрос, от которого всякий счёт становится грязным: если можно закрыть долг

одной жизнью и спасти сто — не следует ли так и сделать? Правильный ответ известен и звучит твёрдо: нельзя. Долг закрывают своим. Кровью или хлебом — но своим. Тот, кто расплатился чужим, не закрыл ничего, а только отсрочил, и отсрочка эта потом придёт к его детям и к детям его детей, с процентами, которых никто не считал.

Об этом легко говорить, покуда речь не о твоём селе, не о твоей зиме и не о твоих внуках. И потому такие отсрочки в русской земле лежат едва ли не под каждым третьим бугром. Мы просто не знаем, где именно.

Мне остаётся добавить одно, и это скорее предупреждение, чем вступление.

Читая дальше, легко будет сказать: ну, деревня, ну, дикость, ну, сорок четвёртый год, голод, темнота, чего с них взять. Так сказать удобно, и я сама так говорила, покуда не увидела своими глазами, как это делается сегодня. А делается это сегодня очень чисто. С разрешительным листом. С экспертизой. С отчётом, в котором объект переведён из одной категории в другую, потому что так удобнее для проекта. С людьми, которые ничего не воруют и никого не убивают, а просто выполняют график и очень устали от того, что им мешают выполнять график.

Разница между девятью мужиками с лопатами в сорок четвёртом и нынешним расширением карьера только в громкости. Мужики хотя бы боялись. Они шли ночью, оглядываясь, и потом восемьдесят два года не могли посмотреть друг

другу в глаза. А бумага не боится ничего.

Первая пришла в сорок четвёртом, осенью, когда фронт ушёл на запад и в разорённом селе поверили слуху, что под самым большим горбом, под Большим Волотом, лежит золото — то самое, волотово, богатырское, за которым будто бы приходили и немцы, да не нашли. Девять мужиков взяли лопаты и пошли ночью, потому что днём было стыдно. Копали два раза. И вынесли из-под насыпи девять вещей. И положили каждый свою в свой дом.

О том, что было дальше, в этом селе не рассказывали никогда и никому: ни детям, ни следователям, ни своим же внукам, приехавшим на похороны. Не рассказывали не потому, что боялись наказания, — наказывать было уже не за что и некому, все давно вышли из всех сроков. Молчали потому, что расплатились тогда чужим. Так расплатились, что рассказать про это вслух означало перестать быть людьми в собственных глазах. И проще было восемьдесят два года не ходить на бугры, не косить там, не пасти, не заходить даже за грибами, и говорить приезжим: бугры? да так, горбы. И жить дальше.

Село умирало медленно и спокойно, как умирают все такие села: три улицы, четыре старика на улицу, магазин через день, автобус во вторник и пятницу. И додержалось бы, наверное, до последнего своего двора, если бы не вторая угроза, которая приходит в наши дни куда чаще первой, — и приходит не ночью с лопатой, а днём, с бумагой.

Пришло межевание. Пришло расширение щебёночного карьера в двухстах метрах от гряды. Пришли согласования, экспертиза, охранные раскопки — всё, как положено по закону, с разрешительным листом и научной методикой. Пришли молодые люди в дождевиках, разбили сетку квадратов, натянули шнуры, стали снимать дёрн аккуратными пластами, зачищать совком, фотографировать с реперной рейкой. Они делали правильно. Они не грабили. Они спасали то, что иначе ушло бы под ковш вместе со щебнем.

И именно они, спасая, дошли до периферии Большого Волота, где по всем правилам должно было лежать сопутствующее погребение эпохи насыпи, — и подняли из ямы то, чего никак не должно было там лежать.

Кости женские. Молодые. Пятнадцати, может, шестнадцати лет.

И моложе кургана на девять веков.

Дальше начинается то, о чём эта книга, и потому дальше я забегать не стану. Скажу только, что бывают дела, в которых мёртвый ни в чём не виноват, а виноваты все живые — и не тем, что сделали, а тем, что молчали и передали молчание по наследству, как передают комод или медную посуду. И бывает вина, которую нельзя ни отсидеть, ни отработать, ни замолить в одиночку, потому что она общая, и рассчитаться по ней можно только всем миром и только вслух.

И бывает ещё одно, самое трудное. Бывает, что вину эту помогли спрятать не злодеи, не воры, не начальство с крас-

ной резолюцией, — а те, кто по своему ремеслу обязан был не давать её прятать. Те, кто стоит на границе и держит её для людей. И когда такое всплывает, платить приходится не только селу.

За всё, что берут из курганов, платят. За вещи. За молчание. За чужую жизнь, положенную вместо своей.

И курганы, если их долго не кормить, начинают собирать сами.

Глава 1. Гостья с костяной ногой

В Чернотопье октябрь начинался с воды.

Не с холодов, не с золотого леса, как в книжках, а именно с воды: болото вздыхало, поднималось на ладонь, и вся низина за огородом становилась зеркальной, чёрной, с торчащими стеблями. По утрам над ней стоял пар, и в этом паре тонули кусты, потом плетень, потом сарай, и дом оказывался на острове, единственный тёплый предмет в целом мире. Корнеев за прошедшие годы привык считать это уютом. Он и сам удивлялся, до чего быстро человек привыкает называть уютом то, что сначала называл гиблым местом.

В то утро он колол дрова.

Работа была нехитрая и приятная: сухая ольха разлеталась под колуном с сухим стуком, чурбак садился ровно, руки помнили движение сами. Он колол и слушал дом. В доме Василиса пела — не песню, а что-то без слов, длинное, качающееся, чем в её роду укачивали детей ещё тогда, когда никаких песен со словами не сочиняли. Под это качание Лукерья, надо полагать, наконец засыпала: она вторую ночь не спала толком, лезли зубы, и весь дом жил по её расписанию, как живут все дома, где есть годовалый ребёнок.

Одиннадцать месяцев. Через три недели — год.

Корнеев поставил колун и постоял, глядя на дым из своей трубы. Он делал так теперь часто: останавливался посреди

дела и смотрел на собственный дом, на трубу, на занавеску в кухонном окне, — как смотрит человек, которому долго не верится, что это его. Двадцать лет в московском розыске приучили его к другой картинке: съёмная однушка, кофе из автомата, дежурства, дела, папки, лица, чужое горе, разложенное по томам, и мысль, что так будет всегда и, значит, никак. Потом было Чернотопье, и болото, и зеленоглазая знахаркина дочь, и всё, что случилось после, — семь дел, шесть закрытых долгов, парные шрамы, огонь, кровь и хлеб. И вот труба, и занавеска, и в доме поёт женщина, и спит дочь.

За это он теперь боялся так, как за себя никогда не боялся. — Дима, — сказала Василиса из сеней.

Он обернулся сразу. Он всегда оборачивался сразу, когда она говорила таким голосом: ровным, тихим и без выражения. Так она говорила, когда слушала не его.

Василиса стояла на пороге в накинутом на плечи платке, босая, — и это было первое, что ему не понравилось, потому что она сроду не выходила босой в октябрь. Второе, что ему не понравилось, было её лицо. Зеленоглазая, обычно спокойная и тёплая, сейчас она смотрела мимо него, за его плечо, на болото, и в глазах у неё стояла та особенная сосредоточенность, которую он за годы научился читать без слов.

— Опять? — спросил он.

— Опять, — сказала она. — С ночи. Я думала, показалось. Не показалось.

— Что оно говорит?

Она молчала долго. За её спиной в глубине дома всхлипнула во сне Лукерья, и Василиса машинально качнула бедром, будто держала ребёнка на руках, — привычка, которая появляется у матерей и не проходит потом никогда.

— Имя, — сказала она наконец. — Одно и то же. Всю ночь. Полюшка.

Корнеев поставил колун к стене.

— Полюшка, — повторил он. — Не Полина, не Пелагея. Полюшка.

— Как ребёнка зовут, — сказала Василиса. — Как маленькую. Ласково. — Она обхватила себя руками. — Дима, оно шепчет ласково, и от этого хуже всего. Оно ведь не своё говорит, оно чужое передаёт. Кто-то очень далеко зовёт эту Полюшку, зовёт давно и не может дозваться. Ты пойми: не «спаси», не «отпусти». Просто по имени, ласково. Так зовут, когда уже отчаялись и просто повторяют.

— Далеко?

— Очень. — Она наконец посмотрела ему в глаза. — На юго-запад, Дима. Далеко на юго-запад.

Он ощутил под сердцем тот второй, короткий пульс, который появился у него после овина и уже не уходил: не страх, а служебная готовность, как когда-то от звонка дежурного в четыре утра.

— Смоленск, — сказал он.

— Смоленск, — кивнула Василиса. — Курганы. Она ведь говорила. Полгода назад, на крыльце, с Лукерьей на руках.

Помнишь?

Он помнил. Он помнил всё дословно, память у него была следовательская, и он часто жалел об этом. «На юго-западе, за Смоленском, курганы кто-то тревожит, за золотом лезут, а там не золото, там древнее лежит, старше меня». И потом. «Да это потом. Потом. Сперва хлеба горячего».

Полгода — это, оказывается, и было «потом».

— Ладно, — сказал он. — Пойдём в дом. Ты босая.

За чаем они молчали. Лукерья спала в своей кровати — той самой, что Корнеев сколотил зимой, кривовато, зато крепко, и в этой кривой кровати он видел лучшее из всего, что сделал руками за свою жизнь. Печь потрескивала. За окном белел пар над водой. Всё было так же, как каждое утро последних месяцев, и уже не так: в доме появилось третье, невидимое, сидело за столом вместе с ними и молчало, и им обоим было ясно, что тишине конец.

— Может, не наше, — сказал Корнеев без надежды, только чтобы сказать. — Смоленщина. Тысяча километров. Там своя граница, свои... — Он поискал слово. — Свои держатели.

Василиса посмотрела на него поверх чашки.

— Нет там никого, — сказала она. — Уже давно никого. Я бы почуяла. Пустая граница, Дима. Гуляй-поле. Оттого и слышно так далеко: у нас на болоте не нашлось бы, кому позвать, если бы нас с тобой не было.

— Тогда почему слышишь именно ты? — Он придвинул

табурет ближе. — Ты подумай сама. Между нами и Смоленском восемь областей. Почему через восемь областей зовут в наше болото?

— Потому что там нет никого, а мы есть.

— Не сходится, — сказал он мягко. — Так не бывает, чтобы кричали в пустоту и попадали ровно в нужный двор. В моей работе, Василиса, если что-то попало ровно в нужный двор, значит, знали адрес.

Она поставила чашку. Он видел, как ей не хочется думать в эту сторону.

— Значит, знали, — сказала она тихо. — Значит, там что-то наше. Хранительское. Старое.

И в этот момент за окном, по мокрой траве, раздалось: так-так-так.

Ровно, неспешно, по-хозяйски. Костяная нога по земле.

Корнеев уже давно не хватался при этом звуке за нож. Он поднялся, снял с полки чистую чашку, поставил третью на стол и подбросил дров в печь, потому что гостя мёрзла всегда, в любую погоду, и первым делом жаловалась на холод.

Василиса открыла дверь.

Она вошла, как входит родня, которую не любят, но принимают: не здороваясь, сразу к печи, и по пути сунула нос в ведро с водой, потом в горшок с картошкой, потом посмотрела в кроватку. Маленькая, сгорбленная, в одежде, которая, кажется, состояла из мха, коры и чего-то ещё, о чём лучше не думать. Седые космы. Белые глаза с зелёными искрами

в глубине. Костяная нога стучала по половицам с той бытовой обыденностью, от которой у Корнеева до сих пор шевелились волосы на затылке — не от ужаса, а от несовместимости: так стучит по полу деревянная нога старого сельского пасечника, а не то, что стучало здесь.

— Холодно, — сказала Баба-Яга. — Октябрь. Не люблю октябрь. В октябре земля тонкая.

— Садитесь, — сказала Василиса. — Чай с мятой. И хлеб вчерашний, но хороший.

— Вчерашний, — проворчала старуха, усаживаясь. — Ну хоть какой. — Она отломила краюху, обнюхала её, откусила и жевала долго, глядя в огонь.

Корнеев сел напротив. Он давно перестал спрашивать, откуда она приходит и куда уходит. Он спрашивал только по делу.

— Долгие Курганы, — сказал он.

Старуха перестала жевать.

— Вот как, — сказала она. — Уже знаешь название? Быстро.

— Не знаю. Наугад сказал. — Он усмехнулся. — Такие места всегда как-нибудь так и называются: Долгие, Волотовки, Могилицы. Значит, угадал.

— Угадал. — Она положила недоеденную краюху и вытерла руку об мох на плече. — Долгие Курганы. Шестидесят четыре насыпи по-над Вихрой. И одна большая, поперёк всех. Большой Волот. — Она помолчала. — Плохое место,

следователь. И плохое оно не тем, чем ты думаешь.

— А чем я думаю? — спросил Корнеев.

— Ты думаешь: могилы разрыли, покойник встал, надо укладывать. — Баба-Яга поглядела на него с ленивым презрением. — Ты семь дел закрыл и решил, что понял устройство. Все вы так. Уложил упыря — думаешь, знаешь мёртвых.

— Не знаю, — сказал он спокойно. — Потому и спрашиваю. Расскажите.

Старуха пожевала губами.

— Курган — это не могила, — сказала она наконец. — В могиле лежит мёртвый и ждёт, чтоб его помянули. А в кургане не ждут. В кургане стоят на посту.

Василиса, разливавшая чай, замерла с чайником в руке.

— Сторож, — сказала она.

— Сторож, — подтвердила Баба-Яга и вдруг стукнула косяжной ногой в пол, коротко и раздражённо. — Вот. Хотя одна понимает. Марфина дочь. Кровь-то помнит, даже когда голова забыла. — Она отхлебнула из чашки, обожглась, зашипела, отхлебнула ещё. — Сторож курганный, девка. Слыхала про такое?

— Слыхала, — медленно проговорила Василиса, садясь. — Мать говорила один раз. Мне лет девять было. Я спросила, чего мы на бугры за клюквой не ходим, там же клюква хорошая. А она сказала: там сторож. Я говорю: какой сторож, там же нет никого. А она: вот потому и нет никого, что

сторож есть.

— Хорошо сказала Марфа. — Старуха покивала. — Простое и правильно.

— Объясните мне, — попросил Корнеев. — Я человек тупой и городской. Мне нужно по порядку. Кто он такой, откуда берётся, чего хочет.

Баба-Яга посмотрела на него долгим белым взглядом. Потом отставила чашку.

— Слушай тогда по порядку, — сказала она, и голос у неё изменился: пропало ворчание, осталось ровное, сухое, как счёт. — Когда большого человека кладут в землю, с ним кладут его добро. Коня, оружие, посуду, бабу, если баба согласная, а иногда и несогласную. Это чтоб ему там было чем жить. Понимаешь? Ему собирают хозяйство. Потом сыплют насыпь. Много земли. Затем, чтобы он с этим хозяйством наверх не полез.

— Логично, — сказал Корнеев.

— А земля, следовательно, ненадёжная вещь. Она оседает. Её роет лиса, размывает дождь, вспахивает дурак. И поэтому к двери ставят сторожа. — Она подныкает палец, коричневый и кривой, как корешок. — Живого. Слышишь? Не мёртвого. Мёртвого поставить нельзя, мёртвый сам никакой. Ставят живого: опустят в яму сбоку от хозяина, дадут воды в горшке и хлеба на первые дни, чтоб успел понять, где он теперь служит, — и засыплют.

Василиса опустила голову.

— Ох, — сказала она.

— Не ох, — отрезала старуха. — Так делали. Везде так делали, и не потому, что были злее вас. Потому что знали, что бывает, если не поставить.

— И что бывает? — спросил Корнеев.

— А то бывает, что хозяин сам выйдет искать своё добро. И тогда пропадёт всё село, а не один человек. — Она пожала мшистыми плечами. — Вот и считали: один или все. Считали и ставили.

Корнеев молчал. Он сидел за своим столом, в своём тёплом доме, где спала его дочь, и слушал арифметику, от которой у него ныло в затылке двадцатилетним следовательским отвращением. Один или все. Он знал этот счёт очень хорошо. Он видел, как по этому счёту сдают людей — в кабинетах, где ни лопат, ни курганов, а только графики и телефонные звонки.

— И самое главное, — сказала Баба-Яга, — имя ему не дают.

— Как это? — не понял Корнеев.

— А так. Кладут безымянным. Если было имя — стирают: не поминают, не говорят вслух, из песен вычёркивают, детям не передают. Начисто. — Она наклонилась вперёд, и в белых глазах зелёные искры сдвинулись, будто повернулось что-то в глубине. — Потому что тот, у кого имя есть, может однажды услышать, как его зовут. И уйти. А безымянного не позовёшь. Безымянный стоит, покуда стоит насыпь.

В печи щёлкнуло. Лукерья зашевелилась, но не проснулась.

— Значит, чтобы отпустить, надо назвать по имени, — сказал Корнеев.

Старуха хмыкнула — почти уважительно.

— Быстро соображаешь. Только имени того нет уже тысячу лет, следовательно. Его же стёрли. Вот и думай, как называть.

— Найду, — сказал Корнеев.

— Ага. — Она отхлебнула чай. — Найдёт он. Все вы находите. Один нашёл, да не то. Другой нашёл, да поздно.

— Как он берёт? — спросила Василиса. Она спрашивала уже по-другому, деловито, как травница спрашивает про признаки болезни. — Чем метит? Чего боится?

— Метит тяжестью, — сказала Баба-Яга. — Он не рвёт, не кусает, не пьёт крови, у него на это ни зубов, ни охоты. Он вдавливают. Ставит ногу и стоит. Оттого у ваших покойников будут кости колесом и земля в горле. И след будет: босая ступня, большая, в глину на два вершка, от насыпи к селу и от села к насыпи. И иней. Где он прошёл, там трава сгорит от холода полосой, хоть бы и в тёплую ночь, потому что он тянет за собой навьих, а навьи холодные, как порожние рукавицы.

— Навьи, — повторил Корнеев, записывая. Он всегда записывал.

— Свита, — пояснила старуха. — Отроки, конюхи, псари, кто с хозяином лёг. Пустые. Не бойся их: они не думают.

Бойся того, кто впереди.

— Он идёт по злобе? — спросил Корнеев. — По кровному счёту? Как заложный?

И тут Баба-Яга засмеялась. Смех у неё был короткий, скрипучий и без веселья, и от него всегда становилось хуже, чем от угроз.

— Нет, — сказала она. — Вот тут вы и вляпаетесь. Он не по злобе. Он не мстит. Ему на ваши подлости, на вашу вину, на ваше раскаяние — тьфу. Он служит. — Она подняла кривой палец. — Он взыскивает по описи.

— По какой описи?

— По той, что сама собой ведётся. Из-под насыпи вынесли вещь? Значит, недостача. Одна вещь — один счёт. Он придёт туда, где вещь лежит, и возьмёт за неё того, у кого лежит. Не разбирая, вор ты или наследник. Не разбирая, знал ты или в комод под скатертью нашёл и думал — бабкина брошка.

Корнеев отложил карандаш и очень медленно откинулся на спинку табурета.

— Погодите, — сказал он. — Погодите. То есть если вещь взяли... сколько-то лет назад... и она переходила из рук в руки...

— То он пойдёт по рукам, — спокойно сказала Баба-Яга. — По всем. Покуда все вещи не вернутся под насыпь. Или покуда не кончатся руки.

В кухне стало тихо. Так тихо, что слышно было, как в кровати ровно дышит ребёнок.

— Это не месть, — проговорил Корнеев. — Это инвентаризация.

— Как? — не поняла старуха.

— Учёт, — сказал он. — Ревизия. У него недостача, и он её закрывает.

— Учёт, — попробовала слово Баба-Яга и вдруг закивала, довольная. — Учёт. Хорошее слово. Вот именно учёт, следовательно. Он бухгалтер, а не убийца. Оттого его и не уговоришь, и не напугаешь, и не разжалобишь. Бухгалтера не разжалобишь. Ему сдай баланс — и он уйдёт.

Василиса встала, подошла к кровати и постояла над спящей дочерью, не оборачиваясь.

— Сколько вещей? — спросила она.

Старуха пожала плечами.

— Не считала. Не моё дело. Ваше. — Она снова взялась за краюху. — Знаю только, что копали дважды. Давно копали, при мужиках, ночью, с лопатами. И сейчас копают, днём, с бумагой. И вот это второе хуже.

— Почему хуже? — спросил Корнеев.

— Потому что нынешние копают правильно, — сказала Баба-Яга. — Аккуратно. По всей насыпи. И потому дойдут до всего. А в том кургане, следовательно, есть одно место, до которого доходить нельзя. И они до него дойдут не сегодня-завтра, если уже не дошли.

— Какое место? — спросил Корнеев.

Баба-Яга не ответила. Она смотрела в печь, и жёлтые от-

блески ходили по её древнему лицу, и Корнеев внезапно понял, что старуха не тянет паузу для важности. Она подбирает, что можно сказать, а что нельзя.

— Не скажу, — сказала она наконец. — Не потому, что вредная. Потому что если скажу — вы поедете знать, а надо, чтоб поехали смотреть. Знающий видит только то, что знает. — Она сунула остаток хлеба за пазуху, по-крестьянски, привычно, будто в мшистом её одеянии был карман. — Скажу другое. Там, у Волота, есть подмена.

Василиса обернулась от кровати.

— Подмена, — повторила она, и голос у неё сел.

— Подмена, — кивнула старуха. — Сторожа подменяли. Не в древности. Позже. Много позже. — Она подняла белые глаза и посмотрела прямо на Василису, и в этом взгляде было что-то новое, чего Корнеев у неё раньше не видел: не насмешка, не голод, не древняя скука, а тяжёлое, почти человеческое сожаление. — И подменяла ваша.

Василиса стояла у кровати, не двигаясь.

— Кто? — спросила она.

— Матрёна. — Старуха выговорила имя тихо и с явным неудовольствием, как выговаривают имя дурной родни. — Матрёна Ксенофонтовна. Знахарка заволотская. Держала ту границу сорок лет, и держала неплохо, покуда не пришло то, что было ей не по силам. — Она помолчала. — Я её помню. Крепкая была баба. Умная. Смелая. Всё при ней было, кроме одного.

— Кроме чего? — спросил Корнеев.

— Кроме готовности платить своим, — сказала Баба-Яга.

И замолчала окончательно. Корнеев видел, что дальше она не пойдёт: он давно научился отличать её паузы-приманки от её запретов. У этой старухи были свои правила, непонятные и жёсткие, и когда она упиралась, спорить было бесполезно.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда по делу. Что нам нужно знать перед дорогой?

— Три вещи. — Она загнула палец. — Первое: у него срок. Сторож ходит не когда попало, он ходит от поминального дня до поминального дня. Осенние деды. По-нынешнему — Дмитриева суббота. — Она усмехнулась. — Твоя, следовательно, суббота. По имени.

Корнеев не улыбнулся.

— То есть до Дмитриевой субботы он должен получить своё, — сказал он.

— То есть до Дмитриевой субботы вы должны сдать баланс, — поправила Баба-Яга. — А в саму субботу решится. В такую ночь мёртвых кормят, и он либо примет корм и ляжет, либо возьмёт всё, что не додали, разом. Со всего села.

— Второе?

— Второе: не пугайте село. — Старуха ткнула кривым пальцем в столешницу. — Тебе, следовательно, захочется. Тебе всегда хочется: собрать людей и всё им выложить. Так вот: если ты им сразу скажешь про сторожа, они разбегутся, а ве-

щи увезут с собой. И тогда он пойдёт по дорогам, по городам, по чужим квартирам, и ты его уже не догонишь никогда. Понял? Держи вещи в одном месте. Держи людей в одном месте.

Корнеев записал. Это был совет профессионала, и он это оценил.

— Третье?

Баба-Яга помолчала. Потом с трудом, кряхтя, поднялась, подошла к кровати и посмотрела на спящего ребёнка. Стояла долго. Лукерья спала, разбросав руки, с прилипшей ко лбу светлой прядкой, и в её лице во сне не было ничего охранительского, ничего древнего, а было только то бессмысленное совершенство, которое бывает у годовалых детей и от которого у взрослых сжимает горло.

— Третье, — сказала старуха, не оборачиваясь. — Дитё не берите.

Василиса шагнула к кровати и встала рядом, плечом к плечу со страшной гостьей, и обе они смотрели на девочку.

— Почему? — спросила Василиса очень тихо.

— Потому что подмена, — сказала Баба-Яга. — Я тебе сказала: сторожа подменили. А подмена — это уговор. А в уговоре всегда есть строчка, которую пишут в конце и мелко. — Она наконец обернулась, и белые глаза её были совершенно пусты. — Не знаю я, что там за строчка. Врать не стану. Знаю, что уговор Матрёнин держится на живой душе, а живая душа изнашивается. И знаю, чем в таких случаях платят

вторым разом. — Она стукнула костяной ногой. — Вторым разом всегда платят дитём. Всегда, девка. За тысячу лет — ни одного другого случая не видала.

Тишина в кухне стала другого качества.

— Мы её не отдадим, — сказал Корнеев.

— Вас и не спросят, — сказала Баба-Яга.

— Спросят, — сказал Корнеев ровно. — Меня всегда спрашивают. У всех, кто со мной садился за такой стол, было ко мне предложение. У кикиморы. У лешего. У водяного. У полуночницы. У овинника. У упыря на Гнилой Гати. И у вас, между прочим, тоже, и не один раз. — Он посмотрел старухе в лицо. — Все они начинали с предложения. Значит, и этот начнёт. А если начнёт — я буду говорить. Я двадцать лет говорил с теми, кто торговался за чужие жизни. Это моя работа.

Баба-Яга долго смотрела на него. Потом хмыкнула.

— Оттого тебя и держит граница, — сказала она. — Не за храбрость. За упрямство. Храбрых там много, они первые и ложатся. — Она поковыляла к дверям. — Ладно. Дитё — ваше дело. Я предупредила, а вы, конечно, повезёте. Куда мать, туда и дитё, знаю я вас, Мороковых, вы все такие, и Марфа была такая, и мать её.

— Останьтесь, — вдруг сказала Василиса. — Хоть на день. Понянчите. Она вас ждёт, она ваш стук уже узнаёт.

Старуха замерла у двери. Спина её сгорбилась ещё больше.

— Не могу, — сказала она с неожиданной, почти обиженной досадой. — Мне туда нельзя, девка. В курганы. Мне туда никак нельзя, и не спрашивай почему. — Она приоткрыла дверь, и в кухню потянуло холодным паром с болота. — Я вам вот что скажу, и это уж совсем даром. Когда придёт время звать его по имени — не выдумывайте имени. Не смейте. Ложным именем позовёте — он придёт, но не уйдёт, и тогда всё ляжет на вас двоих и на дитё. Имя должно быть настоящее. Оно где-то есть. Стёртое имя всегда где-то остаётся, они никогда не стирают до конца, всегда какой-нибудь дурак нацарапает.

И вышла в пар, и по мокрой траве пошло: так-так-так, — всё тише, покуда не растворилось в тумане над водой.

Корнеев закрыл дверь. Постоял, держась за скобу.

— Ну, — сказал он. — Собираемся.

Они собирались весь день, и это был тот особенный, почти уютный труд, который Корнеев за годы полюбил не меньше, чем дорогу. Он проверил уазик — свечи, ремень, масло, запаску; сложил в багажник канистру, лопату, топор, тросы. Собрал своё: блокнот, фонарь, нож, удостоверение внештатного консультанта, которое открывало ровно те двери, какие нужно, и закрывало ровно те вопросы, каких не нужно. Позвонил в район — не в Заволотье, а сразу выше, в областное, — и услышал ровно то, чего ждал: голос дежурного стал деревянным, потом вежливым, потом попросил перезвонить через час, а через час перезвонили сами, и это уже был Ве-

дерников.

— Корнеев, — сказал полковник в трубку, и по одному этому «Корнеев» слышно было, что он устал жить. — Ты откуда узнал?

— Товарищ полковник, — сказал Корнеев. — У меня к вам два вопроса. Первый: сколько там трупов? Второй: почему я узнаю о них не от вас?

В трубке помолчали.

— Один, — сказал Ведерников. — Пока один. И, Корнеев, я тебе честно: я не хотел тебя туда. Не моя область, чужая земля, чужие погоны, а ты у меня один такой, и мне за тебя потом отчёты писать. Но раз ты сам... — Он вздохнул. — Один труп, Смоленская область, Заволотье. Курганная группа, там археологи копают под карьер. Нашли мужика на насыпи. Местный, мелкий уголовник, копатель. Экспертиза говорит — компрессионная травма, множественные переломы, как под гусеницей. Только гусениц там не было, и следов техники нет.

— А какие следы есть? — спросил Корнеев.

Ведерников снова помолчал. Корнеев за годы очень хорошо изучил эти его паузы: так молчит служебный человек, которому надо произнести вслух то, что нельзя внести в документ.

— Босые, — сказал полковник. — Сорок восьмого размера. По глине, в ночь на плюс шесть.

Глава 2. Дорога на юго-запад

Выехали до света, и первые сорок километров Лукерья кричала.

Кричала не от испуга и не от боли, а от возмущения: её вынули из тёплого, из привычного, из своего, посадили в трящую железную коробку, и коробка гудела, и в ней пахло бензином, и мир за стеклом дёргался. Она кричала с той полной самоотдачей, на которую способен только годовалый человек, и Василиса, сидя рядом с автокреслом — купленным год назад в райцентре, единственным современным предметом в этом уазике, — держала её за ногу и пела своё качающееся, без слов.

Потом Лукерья устала и уснула, и стало слышно машину. — Она привыкнет, — сказала Василиса.

— Она привыкнет, — согласился Корнеев. — Я не привыкну.

Он вёл и думал о том, что вот теперь всё изменилось окончательно. В прошлый раз, на запад, он вёз беременную жену, и это было страшно, но страх был какой-то будущий, отложенный: он боялся за то, что ещё не появилось. Теперь на заднем сиденье, в полуметре от его плеча, спал человек. Отдельный. Со своими бровями, со своей манерой во сне поджимать пальцы, со своим уже сложившимся характером — сердитым и любопытным. И этого человека он вёз в село, где

ходит бухгалтер с недостатчей.

— Скажи мне, что мы правы, — сказал он.

— Мы не правы, — ответила Василиса спокойно. — Мы просто не можем иначе.

— Это разные вещи?

— Очень разные, Дима. Правы бывают те, у кого есть выбор. — Она поправила одеяльце. — Я год думала об этом. Каждый день. Ты знаешь, что я думала?

— Знаю. — Он смотрел на дорогу. — Что её надо оставить.

— Что её надо оставить, — кивнула Василиса. — С кем? В Чернотопье некому. Марфы нет. Родни нет. Соседка Полина Марковна добрая, да ей семьдесят восемь и она глухая. В район отдать? Ты представь: годовалое хранительское дитё в чужом доме, в райцентре, а мы за тысячу вёрст на границе. Дима, она же нас чувствует. Она не спит, когда мы не спим. Она в прошлый месяц, помнишь, заплакала ровно в ту минуту, когда ты в лесу с ножом на кабана вышел.

— Помню.

— Ей от нас далеко нельзя, — сказала Василиса. — Пока нельзя. Это не материнская дурь, я тебе не как мать говорю. Разорви связку — и хуже будет всем троим. — Она помолчала. — Я тебе честно, Дима: я боюсь до тошноты. Всю ночь собирала и боялась. Но я знаю точно, что бросить её сейчас страшнее.

Корнеев кивнул. У него было то же самое, только выра-

женное другими словами: он был человек, который двадцать лет работал с чужими бедами и знал, что беда почти всегда приходит туда, где нарушен порядок вещей. Порядок вещей был такой: они трое вместе. Он не любил это признавать вслух, потому что в устах бывшего следователя это звучало суеверно, но он в это верил.

— Тогда так, — сказал он. — Правила. Первое: селиться не в селе. Найдём двор на отшибе, лучше — за водой, у реки, чтоб между нами и курганами вода.

— Хорошо, — сказала Василиса. — Вода правильно.

— Второе: она никогда не остаётся одна. Никогда, ни на минуту. Если я на выезде, ты с ней. Если ты на обряде, я с ней. Если обоим надо — берём человека, которого проверим.

— Третье, — сказала Василиса, — я поставлю порог. Полностью. По-старому, не наспех. Соль, железо, хлеб, полынь и уговор на четыре угла. Дима, это займёт вечер, но я поставлю так, что через него не пройдёт ни навий, ни сторож, ни ряженный.

— Ряженный? — Он глянул на неё.

— А ты думаешь, ряженных не будет? — Василиса усмехнулась невесело. — Дима, где такое, там всегда кто-нибудь наряжается. В Гати помнишь? Мокрушины простыней махали, чтоб от копанок отвлечь. Люди всегда лезут в дела мёртвых со своей выгодой.

Они ехали два дня. Сперва — по вологодским просёлкам,

потом по трассе, серой и мокрой, среди облетевших берёз. Октябрь в этом году был тёплый, мутный, с ежедневной моросью и низким небом; на обочинах стояли лужи, в лужах отражалось ничто. Придорожная Россия шла мимо: заправки, шиномонтаж, «Кафе Уют», кресты на повороте, бетонный автобусный павильон с надписью краской, за ним три двора и покосившийся клуб. Корнеев смотрел на это без раздражения, почти с нежностью, как смотрят на то, чем занимаются всю жизнь.

Ночевали в мотеле под Ржевом. Комната была узкая, с двумя продавленными кроватями, которые сдвинули вместе, и Лукерью положили посередине, обложив свёрнутыми одеялами. Ночью Корнеев проснулся и увидел, что Василиса не спит: сидит, подтянув колени, и смотрит в окно, за которым горел жёлтый фонарь и лежал мокрый асфальт.

— Слышишь? — спросил он шёпотом.

— Тут не болото, — сказала она. — Тут ничего не слышно, тут сплошной асфальт. — Она помолчала. — Но ближе стало, Дима. Полюшка ближе. И знаешь, что странно? Я перестала слышать её ласково.

— А как?

— Устало, — сказала Василиса. — Как когда человек долго держит тяжёлое и уже не может. — Она повернулась к нему в темноте. — Дима, я всю дорогу думаю про одно слово. Подмена. Ты понял, что старуха сказала?

— Понял, — сказал Корнеев. — Кого-то положили в кур-

ган вместо сторожа. Не в древности. Позже. И это сделала знахарка из твоего... ремесла.

— Из моего ремесла, — повторила Василиса. — Дима, я всю жизнь знала, что мы лечим. Что мы для людей. Мать так учила: мы платим собой, а люди пусть живут. Она за уговоры платила годами жизни, у неё в сорок пять волосы были белые. И вот я узнаю, что где-то моя же... коллега, — она горько усмехнулась на этом городском слове, — взяла и положила в яму живую душу. Чужую. И этим держала границу восемьдесят лет. И граница, слышишь, держалась. Всё это время держалась. Значит, это работает.

— Работает, — сказал Корнеев.

— Вот это и страшно, — прошептала Василиса. — Не то, что она это сделала. А то, что это работает.

Он взял её руку. Между ними ровно дышало их дитя.

— Знаешь, — сказал Корнеев, — я двадцать лет работал в системе, где это тоже работало. Взять человека, повесить на него дело, закрыть отчётность. И знаешь, самая мерзкая правда, Василиса? Оно действительно работало. Раскрываемость поднималась, начальство было довольно, село — то есть город — спало спокойно. Только человек сидел ни за что. — Он смотрел в потолок. — Всё, что держится на подмене, работает. Первые восемьдесят лет.

К вечеру второго дня они свернули с федеральной трассы за Смоленском и пошли на юг, к белорусскому пограничью, по узкой дороге с латаным асфальтом, потом по бетонке, по-

ложенной, судя по всему, ещё при советской власти и с тех пор только разъезженной, потом по грейдеру.

Земля здесь была другая. Корнеев отметил это сразу и, как всегда, попытался выразить точно, для себя, словами: не топь, а плоская сырость. Никакой вологодской мохнатой тайги, никакой торфяной черноты. Тут были плавные, длинные, будто заглаженные ладонью холмы, чересполосица озимых и брошенных полей, овраги, заросшие ольхой и ивняком, глинистые обрывы над мелкими речками. Красиво и незаметно. Земля, по которой много раз ходили армии, а она всё равно каждый год делалась зелёной, и потому казалась виноватой в собственном спокойствии.

— Тут воевали три раза, — сказал Корнеев. — Сорок первый, сорок третий, а до того — двенадцатый год, а до того — Смута.

— И раньше, — сказала Василиса, глядя в окно. — Тут воевали всегда, Дима. Это дорога. Тут все ходили: и в ту сторону, и в эту. Земля дорожная. — Она вдруг замолчала и села прямее. — Останови.

Он остановил на грейдере, у поворота, где стоял покосившийся указатель: «ЗАВОЛОТЬЕ 4».

Василиса вышла, ступила в мокрую траву на обочине и постояла, подняв лицо к низкому небу. Ветер шёл ровный, тёплый, влажный, с запахом прелой листвы и пашни. Корнеев тоже вышел, встал рядом. Отсюда открывалось широкое: справа — пологое поле, за ним лента ольшаника вдоль

невидимой реки, слева — щетина брошенного сада, и на горизонте, километрах в двух, кучно белели крыши.

А впереди, за полем, ровной длинной грядой, шли холмы.

Их было хорошо видно с дороги, и Корнеев поймал себя на том, что смотрит на них уже полминуты, а понял только сейчас. Они не походили на курганы из школьных учебников — не круглые шапки, а длинные, вытянутые вдоль реки валы, поросшие бурой травой и редким кривым сосняком, один за другим, один за другим, как позвонки. Гряда шла и шла, теряясь в сером воздухе. А ближе к середине, поперёк всех остальных, лежал один — заметно больший, шире и выше, и на его боку, обращённом к дороге, светлело свежее, песчано-жёлтое пятно раскопа, накрытое кусками полиэтилена.

Ветер трепал полиэтилен. Больше на всей гряде ничего не двигалось.

— Ох, — сказала Василиса.

— Что?

Она не отвечала долго. Потом обхватила себя руками, как утром в Чернотопье, и Корнеев увидел, что её трясёт.

— Тихо, — сказала она. — Дима, тут тихо.

— Это плохо?

— Это невозможно, — сказала Василиса. — Дима, я стою на границе поля и старого места, тут должно шуметь. Всегда шумит. Мыши, кости, корни, ветер, старые сны, обиды — всякое старое место шелестит, оно как радио, которое не

выключается. А тут выключено. — Она обернулась к нему, и в зелёных глазах у неё стоял настоящий, некрасивый страх. — Тут не пусто, Дима. Тут молчат. Их там много, и они все молчат, потому что кто-то велел молчать. Ты понимаешь? Там дисциплина.

Корнеев смотрел на длинную гряду с жёлтым пятном раскопа и молчал сам.

— Ты сказала «их много», — проговорил он наконец. — Сколько?

— Не считается, — сказала Василиса. — Как в казарме, Дима. Не поштучно. Строем.

В Заволотье они въехали в сумерках.

Село оказалось больше, чем Корнеев ожидал: три улицы, вытянутые вдоль пологого склона к реке, кирпичный магазин с крыльцом, бетонная коробка бывшего Дома культуры, водонапорная башня, а на бугре за прудом — церковь без купола, с обглоданными временем стенами и берёзкой, растущей из кладки. Дворов Корнеев на глаз насчитал сотни полторы, но жилых из них было, судя по трубам и занавескам, десятка четыре, не больше. Остальные стояли: с провалившимися крышами, с окнами, забитыми фанерой, с яблонями, которые ещё десять лет будут родить никому.

Такие села он умел читать с одного взгляда. Это был не мёртвый населённый пункт, а живой человек в последней стадии: ещё дышит, ещё ходит в магазин по вторникам, ещё держит трёх коров на всё село, а внуки приезжают на две

недели в июле, и все понимают, чем это кончится, но никто не говорит.

Что было необычно — так это тишина. Не деревенская вечерняя, а именно нежилая: ни радио, ни телевизора за окном, ни собак. Собаки в селе были, Корнеев их видел — они лежали у калиток и провожали уазик глазами, не поднимая головы, и не одна не гавкнула.

— Собаки не лают, — сказал он.

— Собаки не лают, — подтвердила Василиса. — Дима, они устали.

У магазина стоял белый УАЗ-«буханка» с полицейской полосой, а возле него — молодой человек в форменной куртке, с открытым, простым и очень несчастным лицом. Он курил, поглядывая в сторону поля, и держал сигарету так, как держат её люди, начавшие курить неделю назад.

Корнеев остановился, вышел, показал удостоверение.

— Барсуков, — сказал участковый, выпрямляясь. — Леонид Барсуков, участковый уполномоченный. Мне из области звонили, ага. Сказали, приедет консультант, помогать по особым... по этим. — Он посмотрел на удостоверение, потом на Корнеева, потом на уазик, из которого выбиралась женщина с ребёнком на руках, и глаза у него стали совсем растерянные. — Извиняюсь. А это?

— Василиса Андреевна, эксперт, — сказал Корнеев. — Мой консультант по обрядовой части. А это Лукерья Дмитриевна, ей одиннадцать месяцев, и она с дороги голодная, так

что первым делом жильё. Ты мне лучше сразу скажи, Леонид: есть в селе дом, где можно жить с ребёнком? Тёплый, с печью. Желательно на отшибе. Желательно за прудом или за речкой, чтоб от поля вода отделяла.

Барсуков открыл рот. Закрыл.

— Чтоб вода отделяла, — повторил он тихо. — Ага. Понял. — И вдруг, без всякой связи, сказал: — Значит, правда.

— Что правда?

Участковый оглянулся на пустую улицу, на лежащих собак, на трубу единственного дымящего дома.

— Что не человек, — сказал он.

Дом нашёлся: изба покойной Матрёниной сестры — Корнеев узнает об этом только через неделю и оценит совпадение как совпадение, потому что совпадений в его работе почти не бывало. Изба стояла на другом берегу пруда, за плотинкой, у самой воды, отдельно от улиц, крепкая, с большой печью, с высоким крыльцом; из окон было видно церковь без купола, а курганной гряды видно не было — её закрывал бугор с кладбищем. Хозяйка, дочь покойной, жила в Смоленске и сдавала избу летом рыбакам за копейки; ключ держала соседка. Барсуков за час договорился по телефону.

Пока Василиса топила печь и кормила Лукерью, Корнеев с участковым сидели на крыльце. Стемнело. Над прудом стоял туман, в тумане горели два фонаря на всё село.

— Рассказывай, — сказал Корнеев. — С начала. Без версий. Только то, что видел сам.

Барсуков закурил свою неумелую сигарету.

— Двадцать девятое сентября, — начал он. — Утром, часов в восемь, звонят с раскопа. Экспедиция. Кричит девушка, аспирантка, Инна Сотникова, что у них на Волоте человек лежит. Я приехал через сорок минут. Он лежал на верху насыпи, на самом гребне, лицом вверх. — Участковый затянулся. — Дмитрий Алексеевич, я четвёртый год работаю. Я утопленников видел, я по осени тракториста из-под трактора вынимал, я к пожару ездил, где двое сгорели. Я думал, что видел.

— Ты его знал?

— Витька Гринько. Двадцать шесть лет. Гринько тут посела: Семён Гринько, Толик, Ленка. Витька был... — Барсуков подумал, как сказать. — Не злой. Дурной. Пил, воровал по мелочи. Металл сдавал. И копал.

— С прибором?

— С прибором, — кивнул участковый. — У Семёна два прибора, хорошие, немецкие. Они по войне копали в основном, тут же везде война, тут в каждом овраге... И курганы, конечно, лапали. Я их гонял. Один раз протокол составил, штраф выписали, и всё, кому это интересно. — Он потушил сигарету о ступеньку. — Так вот. Лежит он на гребне. И ростом стал короче.

— Что значит короче?

— Он вдавленный был, — сказал Барсуков, и голос у него сорвался. — Понимаете? Не расплющенный. Вдавленный в

землю на пол-ладони, вместе с травой, и трава вокруг него как... как когда сапог отпечатался. Грудь провалена, все рёбра вниз, ноги вывернуты. Судмедэксперт в Смоленске сказал: компрессионная травма, как под гусеничной техникой, только техника наезжает и съезжает, а тут, говорит, будто стояли. — Он сглотнул. — Долго стояли.

Корнеев записывал в блокнот. Записывал он ровно, крупно, без спешки, и обычно это успокаивало свидетелей: человек видел, что его слушают серьёзно.

— Что во рту?

Барсуков вздрогнул.

— Откуда вы знаете?

— Что во рту, Леонид?

— Земля, — сказал участковый. — Полный рот глины. И в носу. Эксперт написал: следы аспирации грунта, признаки прижизненного попадания. Он этой землёй дышал. И ещё... — Барсуков потёр лицо. — Ещё иней.

— Расскажи.

— Ночь была тёплая, плюс восемь. А от него полосой, метров десять по склону вниз, трава была битая морозом. Побелевшая, ломкая. Я такое в конце октября видел, когда заморозок, а тут — двадцать девятое сентября, плюс восемь, и полоса шириной метра два. И она шла от него вниз к раскопу, а от раскопа дальше, в сторону села, и на глине...

— Следы, — сказал Корнеев.

— Следы, — сказал Барсуков. — Босые. Я их сфотогра-

фировал, у меня всё есть, я всё зафиксировал, эксперта вызвал, слепки сняли. Длина ступни тридцать два сантиметра. Это, значит, размер сорок восемь. И глубина, Дмитрий Алексеевич. Глина была сырая, но не жижа, я сам по ней ходил в сапогах, я оставлял след на сантиметр, может. А он — на четыре с половиной. — Участковый посмотрел на свои руки. — Я в области сказал. Мне сказали: не выдумывай, Барсуков. Мне сказали: ищи технику, ищи мотоцикл, ищи, кто с ним пил. Мне сказали: у нас нет графы для босых.

— Нет, — согласился Корнеев. — Графы нет. — Он перевернул страницу. — Дальше. Что было в руках или в карманах?

— Ничего. — Барсуков помолчал. — И вот это, знаете, единственное, что меня как... как следователя, что ли, зацепило. У него ни прибора, ни лопаты, ни рюкзака. Он копать шёл — а инструмента нет. И телефона нет. И самое главное: у него в кулаке была вата.

Корнеев поднял голову.

— Вата?

— Синтетическая. Обрывок такого, знаете, набивочного материала, как в куртках. Зажат в правом кулаке, крепко, сантиметра три. Экспертиза: полиэфирное волокно, распространённое, бытовое. — Барсуков вздохнул. — Область скачала: значит, драка, значит, с кого-то куртку рвал. Ищи, у кого куртка порванная. Я, Дмитрий Алексеевич, три недели по селу ходил и смотрел на куртки. У нас тут у половины

куртки рваные.

Корнеев записал: вата в кулаке. Обвёл рамкой.

— Хорошо, — сказал он. — Это хорошо, что вата. Это первая честная деталь за весь разговор.

— Почему честная? — не понял Барсуков.

— Потому что она мешает, — сказал Корнеев. — Всё остальное складывается в картину слишком гладко: мороз, следы, вдавленный человек. Такое хочется либо целиком принять, либо целиком отбросить. А вата — не складывается ни туда, ни сюда. Значит, она настоящая. — Он закрыл блокнот. — Теперь скажи мне, Леонид, самое главное. Что говорят в селе?

Участковый долго молчал.

— Ничего, — сказал он.

— Так не бывает.

— В нашем селе бывает, — сказал Барсуков. — Дмитрий Алексеевич, я тут родился. Я тут вырос. Я тут всех знаю с пелёнок и меня все знают, я для них Лёнька, а не участковый, они мне через плетень кабачки суют. И вот я три недели хожу и спрашиваю. И они мне... — Он поискал слово и нашёл неожиданно точное. — Они мне сочувствуют. Понимаете? Не молчат, не грубят, не отворачиваются. Они мне сочувствуют, как будто я болею, и жалеют, и наливают чаю, и говорят: ох, Лёня, страшное дело, ох, разберитесь. И ничего не говорят.

— А если спросить прямо про курганы?

— Тогда переводят разговор, — сказал участковый. — Все. Тётя Зина, дед Ефим, Тамара Савельевна, все. Мгновенно и очень ловко. Я, честно, сначала думал, что мне мерещится. А потом стал записывать, на кухне, вечером, кто как перевёл. И у меня, Дмитрий Алексеевич, вышло девятнадцать разговоров, и в девятнадцати из них они перевели разговор одинаково. — Он посмотрел на Корнеева. — Одинаково, понимаете? На автобус. Все девятнадцать стали жаловаться на автобус.

Корнеев медленно снова открыл блокнот.

— Вот это, Леонид, — сказал он, — уже не сочувствие. Это выучка.

Барсуков ушёл около одиннадцати, пообещав к утру привезти из райцентра копии всего: протокола осмотра, фотографий, заключения эксперта, объяснений экспедиции. Уходя, он остановился у калитки и сказал, не оборачиваясь:

— Дмитрий Алексеевич. Вы у меня прабабку спросите.

— Кого?

— Барсукову Устинью Прокопьевну. Девяносто шесть лет. Живёт на Задней улице, третий дом от колодца, за ней Ленка Гринько ходит, продукты носит. — Участковый помолчал. — Она в уме. Полностью. Слышит хорошо, глаза только слабые. И она единственная в селе, кто мне про автобус не сказал.

— А что сказала?

— Она сказала: Лёня, я тебе не скажу. — Барсуков сунул

руки в карманы. — Вот так, честно. Не «не знаю», не «отстань». А «я тебе не скажу». И заплакала. Я, знаете, от этого хуже спал, чем от следов.

Он ушёл в туман, и было слышно, как заводится его буханка.

Корнеев вернулся в дом. Внутри было уже тепло и пахло тем, чем всегда пахло вокруг Василисы, куда бы её ни привозило: сухими травами, хлебом, дымом. Лукерья спала на широкой лавке, обложенная подушками. Василиса сидела на полу перед печью, разбирая свой мешок, и раскладывала на чистой тряпице то, что Корнеев за годы научился узнавать: полынь, зверобой, чернобыльник, соль в мешочке, кованый гвоздь, тёмный от старости, круглое зеркальце, свечи, сушёная кутя в узелке.

— Порог? — спросил он.

— Порог, — сказала она. — Сегодня же. — Она подняла на него глаза. — Дима, тут плохо.

— Насколько?

— Не как в Гати. — Она подбирала слова медленно. — В Гати была рана. Мокрая, гнойная, страшная, но рана: заложный ходил и брал, и было слышно, как ему больно и как он злится. Тут другое. Тут не рана. Тут... — Василиса взяла кованый гвоздь и повертела его в пальцах. — Тут склад.

— Склад?

— Помещение, — сказала она, и от этого будничного слова у Корнеева похолодели плечи. — Закрытое помещение,

куда никто не ходит, и внутри всё разложено по местам, и стоит человек и следит, чтоб лежало. И вот сейчас туда пришли, вынесли часть, и он ходит и сверяет.

— Учёт, — сказал Корнеев.

— Учёт. — Она положила гвоздь. — И, Дима, я весь вечер сижу и понимаю одну вещь, и она мне очень не нравится. С этим нельзя воевать. Ни огнём, ни осиною, ни солью, ни именем. Ты понимаешь? Кикимору можно выгнать. Лешего можно перехитрить. Водяному можно заплатить. Полуночницу можно отогнать. Овинника можно накормить. Упыря можно уложить и упокоить. А со складом можно сделать только одно.

— Сдать баланс, — сказал Корнеев.

— Вернуть вещи, — сказала Василиса. — Все. До последней. И покуда не вернутся все, он будет ходить, и наши обряды ему как... как бумажка сторожу на воротах. Он глянет и скажет: не по форме.

Корнеев сел на лавку рядом со спящей дочерью и долго молчал, глядя в огонь. Потом усмехнулся.

— Ты чего? — спросила Василиса.

— Понимаешь, — сказал он, — я вдруг сообразил, что первый раз за все семь дел мне попало что-то, устроенное ровно как моя старая работа. Не мистика с бубнами, а розыск вещей. — Он потёр глаза. — Кража с проникновением, восемьдесят с лишним лет давности, похищено девять предметов, все с признаками особой ценности. Требуется устано-

вить перечень похищенного, круг лиц, судьбу каждого предмета и вернуть на место. — Он посмотрел на Василису. — Я, Василиса, вернул за свою жизнь три иконы, одну коллекцию монет и вагон краденого кабеля. Я эту работу знаю руками.

— Только эти вещи никто не описывал, — сказала она.

— Всё описывают, — сказал Корнеев. — Это первое, что понимает следователь: люди не могут не оставлять бумаг. Даже когда крадут ночью и молчат восемьдесят лет, где-то есть акт, докладная, справка, чей-то донос, чья-то расписка в получении. Кто-то куда-то писал. Обязательно. — Он встал, подошёл к окну и посмотрел в туман, за которым, невидимая, за кладбищенским бугром, лежала гряда. — Мне нужен архив. Смоленск. И мне нужны трое: экспедиция, копатели и старуха, которая плакала и сказала «я тебе не скажу».

Василиса поднялась, отряхнула колени.

— С этого начнём завтра, — сказала она. — А сейчас, Дима, помоги. Держи свечу и ничего не говори, что бы ни услышал. Даже если постучат.

Порог она ставила почти два часа.

Корнеев видел это много раз и всё равно каждый раз смотрел с тем же немим уважением, с каким смотрел когда-то на работу очень хороших экспертов-криминалистов: та же неспешная точность, та же экономность движений, ни одного лишнего жеста. Василиса обошла дом по кругу против солнца, посыпая тонкой линией соли под самой стеной, у каждого угла останавливалась и что-то тихо говорила зем-

ле. Забила кованный гвоздь в порог сеней — с трёх ударов, обухом ножа, глубоко, по самую шляпку. Обвязала полынью крест-накрест дверную скобу. Растёрла между ладонями сухой чернобыльник и провела ладонями по подоконникам, по всем четырём. Положила на подоконник в комнате, где спала Лукерья, ломоть свежего хлеба и щепоть соли. Поставила у изголовья зеркальце, лицом к двери, и накрыла его платком.

А последнее, что она сделала, Корнеев видел впервые: она села на пол у лавки, где спала дочь, положила ладонь ей на грудь и сказала вслух, ровно и очень серьёзно, в тёмную комнату, — не с угрозой, а как объявляют официально:

— Это Лукерья Дмитриевна, дочь Дмитрия и Василисы, из рода Мороковых, Хранительница по крови и по обоим родителям. Она никому не отдана и никому не обещана. Никакого уговора на неё нет. Никакой подписи под ней нет. Кто скажет иначе — тот врёт, и я это говорю здесь и буду говорить всюду, где спросят.

Тишина в доме после этого стала другая: как будто кто-то, кто слушал, отступил на шаг и стал слушать внимательнее.

Корнеев стоял со свечой и молчал, как ему велели. Но сердце у него шло тяжело, потому что он был следователь и слышал в словах жены не заклинание, а то, чем они по сути были: заявление с возражениями на предъявленную претензию. А заявление с возражениями пишут только тогда, когда претензия уже есть.

Спать легли поздно. Лукерья проснулась в третьем часу,

поела, поворочалась и уснула опять, ухватив мать за палец. За окном стоял туман. В тумане за прудом иногда мигал единственный фонарь.

А в четыре ночи Корнеев проснулся от того, что стало холодно.

Он лежал и слушал. Печь ещё дышала теплом, дом был закрыт, но по полу от двери тянуло, и тянуло не сквозняком, а ровно, как тянет от открытого погреба. Он тихо встал, обошёл сени. Дверь была заперта, гвоздь на месте, полынь на скобе. Он посмотрел в окно.

Туман над прудом стоял неподвижно и был белым от луны. И в этом белом, у дальнего края воды, там, где началась тропа к кладбищенскому бугру, Корнеев увидел, что кто-то стоит.

Не большой. Маленький. Тонкий. Стоит по колено в тумане, у самой воды, и смотрит на дом. Стоит и не двигается.

Корнеев не стал будить Василису. Он взял фонарь, сунул нож за ремень, вышел на крыльцо и пошёл вдоль пруда, освещая тропу.

Через плотинку. Мокрая трава по сапогам. Туман, в котором свет фонаря упирался в белую стену. Он прошёл до того места, где видел фигуру, и остановился, и постоял, слушая.

Никого не было. Только вода чуть плескала.

Он присел и посветил в траву.

Трава была битая морозом. Небольшой пяточок, метра полтора, узкий, аккуратный, будто кто-то стоял тут долго на

одном месте: стебли побелели и хрустели под пальцами, а вокруг — обычная мокрая осень.

И в глине у самой воды остался след. Один.

Босая нога. Узкая. Детская почти — сантиметров двадцать три, двадцать четыре. И вдавленная в глину едва-едва, на волосок, будто стоял человек, который сам почти ничего не весит.

Корнеев долго сидел на корточках над этим следом, и фонарь дрожал не от холода.

— Полюшка, — сказал он наконец в туман, негромко, чувствуя себя при этом полным дураком и понимая, что делает единственно правильное. — Я слышу. Мы приехали. Мы разберёмся.

Туман молчал.

Он вернулся в дом, запер дверь, разбудил Василису и рассказал. Она выслушала, не перебивая, и потом долго сидела в темноте, обняв колени.

— Она не может войти, — сказала Василиса. — Порог держит. И, Дима, она и не хотела войти.

— Тогда чего хотела?

— Посмотреть, приехали ли, — сказала Василиса. — Она восемьдесят два года держит чужой пост и звала через восемь областей, потому что ей больше некого позвать. — Она подтянула к себе спящую дочь, прижала. — Мы к ней приехали, Дима. Не к сторожу. К ней.

Глава 3. Первый на кургане

Утро было серое и тихое, с той особенной октябрьской мягкостью, когда воздух похож на мокрую фланель.

Барсуков приехал в восемь, как обещал, и привёз три вещи: папку копий, термос с чаем, который ему собрала жена, и майора Ковальчука.

Майор Виталий Ковальчук, следователь районного отдела, оказался человеком лет сорока, крепким, коротко стриженным, в куртке поверх форменной рубашки, с лицом, которое Корнеев про себя определил как «лицо человека, у которого двадцать одно дело и одна ручка». Он поздоровался за руку, посмотрел удостоверение Корнеева внимательно, до последней печати, и сказал:

— Я вам сразу, Дмитрий Алексеевич, чтоб потом не было. Я в чертовщину не верю.

— Правильно, — сказал Корнеев. — Я тоже не верю. Ковальчук поднял бровь.

— Мне звонили из области, — сказал он. — Полковник Ведерников. Долго говорил. Про особый опыт, про специфику, про содействие. И знаете, что меня в этом разговоре напугало? Он ни разу не сказал, в чём именно ваш опыт. Двадцать минут говорил и не сказал.

— И не скажет, — согласился Корнеев. — Ему за это придётся писать бумагу, а такой бумаги нет. — Он налил себе

из термоса. — Виталий... как по отцу?

— Григорьевич.

— Виталий Григорьевич, давайте так. Вы мне не верьте. Вообще ни в чём. Проверяйте меня, как проверяли бы любого приезжего с сомнительной ксивой. Я вам буду отдавать всё, что найду, — а вы решайте сами, что с этим делать. Единственное, о чём прошу: показывайте материал. Полностью. Включая то, что вы в дело не положили, потому что смешно.

Ковальчук помолчал, глядя на него.

— Полковник сказал: он вам будет говорить разумные вещи, и вы поверите, — сказал майор. — Предупреждал.

— Так и есть, — кивнул Корнеев. — Разумные вещи — единственное, чем я работаю.

Они поехали на курганы втроём. Василиса осталась в доме — она сказала, что днём на гряде ей делать нечего, что смотреть надо в темноте, а сейчас она пойдёт по селу с ребёнком на руках, потому что женщина с ребёнком в деревне может войти в любой двор без объяснений, а мужчина с удостоверением — ни в один.

Дорога от села к урочищу шла полем: сначала грейдер, потом разъезженная колея между озимыми и стернёй. Слева, километрах в полутора, поднималась серая пыль и стоял ровный далёкий гул — там работал карьер. Корнеев смотрел на этот гул и уже примерно понимал, каким он окажется, когда доедет.

А справа шла гряда.

Вблизи она перестала быть красивой. Вблизи стало видно, что это работа: длинные валы высотой в два-три человеческих роста, вытянутые с северо-запада на юго-восток, один за другим, с ровными интервалами, поросшие бурой прошлогодней травой, полынью и низким кривым сосняком. Между насыпями — ложбины, в ложбинах — рыжая вода. Кое-где на боках виднелись старые оспины: ямы, заплывшие, оплывшие, поросшие, — кладоискательские шурфы, которым, судя по виду, было по сто лет.

— Шестьдесят четыре, — сказал Барсуков. — Так экспедиция говорит. Сорок девять длинных и пятнадцать круглых. Девятый век, десятый, кое-где одиннадцатый. Тут, говорят, культура такая была, я не запомнил название. Смоленские длинные курганы.

— И один поперёк, — сказал Корнеев.

— И один поперёк. — Участковый показал. — Вон он.

Большой Волот стоял в середине гряды и действительно лежал поперёк всех остальных, как будто его насыпали позже и с намерением: перегородить. Он был выше прочих вдвое, шире вчетверо, и на его склоне, обращённом к полю, был вскрыт раскоп — ровный прямоугольник метров двадцать на восемь, с вертикальными стенками, с отмытыми до жёлтой глины бровками, накрытый местами плёнкой. Возле раскопа стояли две палатки, синий вагончик на полозьях, стол под навесом и биотуалет. У вагончика горел костерок.

Людей было пятеро, и все пятеро при появлении машины перестали работать и посмотрели.

Корнеев вышел, огляделся и первым делом сделал то, что делал всегда: пошёл не к людям, а по кругу. Он обошёл раскоп по бровке, посмотрел вниз, посмотрел вверх на гребень, посмотрел на село — оттуда до крайних дворов было километра полтора по прямой, и село отсюда просматривалось насквозь, вся его водонапорная башня, вся церковь без купола, все крыши. Он отметил это. Потом обошёл вагончик, посмотрел, где мусор, где костровище, где следы колёс, где стоит генератор. Потом поднялся на гребень.

С гребня Большого Волота открылось на все стороны, и Корнеев постоял минуту, стараясь ни о чём не думать, только смотреть.

Внизу лежала излучина Вихры: неширокая, мутная, глинистая река с крутым правым берегом и заливными лугами на левом. За рекой — ольшаник и дальше опять поля до горизонта. С этого места было видно очень далеко, и было ясно, зачем гряде насыпали именно тут: с гребня контролировалось всё — река, брод, дорога, поле, село. Это была не просто земля с мертвецами. Это была позиция.

— Здесь он лежал, — сказал Барсуков сзади.

Корнеев обернулся.

Участковый стоял в четырёх шагах, у самого гребня, и показывал на пятно.

Пятно было хорошо видно даже теперь, через три недели:

неглубокая, но отчётливая вмятина в дёрне, длиной с человека, в форме тела, с продавленной серединой. Трава в ней лежала прижатая, бурая, мёртвая, и не поднялась. Вокруг вмятины трава была живая.

Корнеев присел на корточки и долго смотрел. Потом достал из папки фотографии и стал сверять, поднимая то одну, то другую и глядя поверх них на землю.

На фотографиях лежал молодой мужчина в чёрной куртке-пуховике и камуфляжных штанах. Лицо у него было целое и почти спокойное, только рот открыт, и во рту темнело. А от шеи вниз человек был неправильный. Плечи находились ниже уровня земли. Грудная клетка провалилась в себя, куртка на ней смялась глубокой воронкой, будто в неё вдавили что-то большое и круглое. Правая рука лежала вытянутой, кулак сжат. Ноги вывернуты в стороны неестественно, ступни развёрнуты пятками наружу.

— Пуховик, — сказал Корнеев.

— Что? — не понял Барсуков.

— Он в пуховике, — сказал Корнеев. — А в кулаке у него была синтетическая вата. Полиэфирная набивка. — Он поднял глаза на участкового. — Леонид, ты не проверял, из его собственной куртки?

Барсуков открыл рот, и лицо у него медленно, некрасиво покраснело.

— Не проверял, — сказал он.

— Не расстраивайся, — сказал Корнеев. — Тебе бы и не

дали. Экспертиза сравнительная, это заявка, это лаборатория, а у тебя не было даже графы. — Он сложил фотографии. — Виталий Григорьевич, а вы?

Ковальчук, стоявший поодаль и глядевший на реку, отозвался, не поворачиваясь:

— Я проверял.

— И?

— Из его. — Майор наконец обернулся. — Из его правого рукава, изнутри. Куртка порвана по шву у локтя, и оттуда выдран клочок. Эксперт написал: волокна тождественны. — Он сунул руки в карманы. — И вот с этого места, Дмитрий Алексеевич, у меня и началась бессонница.

Корнеев ждал.

— Потому что, — сказал Ковальчук, — если человек в предсмертной агонии рвёт собственный рукав и зажимает в кулаке клочок ваты, это значит, что он держался. За что-то держался, что было у него в руке. И это была не вата. Вата вылезла из порванного места, когда он тянул. — Майор помолчал. — Он что-то держал, крепко, до последнего, и это у него забрали.

— Или, — сказал Корнеев, — он держал это в кулаке вместе с рукавом, потому что не хотел отдавать.

— Вот, — сказал Ковальчук. — Вот. — Он вдруг оживился, и Корнеев увидел, что перед ним не служака с двадцатью одним делом, а живой сыщик, которому давно не с кем поговорить. — Дмитрий Алексеевич, я вам скажу, о чём я думаю

три недели. Витька Гринько был копатель. Копатели ходят с прибором и лопатой. У него не было ни прибора, ни лопаты, ни рюкзака, ни телефона. Ничего. Вопрос: чего он вообще шёл на курган пустой?

— Не шёл пустой, — сказал Корнеев. — Шёл с одним предметом в руке. И, судя по кулаку, шёл, крепко его держа.
— Куда шёл?

Корнеев поднялся и посмотрел вниз, на раскоп.

— Вниз, — сказал он. — Он шёл сверху вниз, к раскопу.
— Он показал на вмятину, потом на склон. — Смотрите. Он лежал на гребне головой к раскопу, ногами к реке. То есть в момент... в момент остановки он был обращён лицом туда, куда шёл. И трава была побита морозом от него вниз, к раскопу, и дальше.

Ковальчук нахмурился.

— Про иней я в дело не писал, — сказал он.

— Знаю, — сказал Корнеев. — Барсуков написал в объяснении, вы вычеркнули. Правильно сделали, вам бы дело вернули. — Он посмотрел майору в лицо. — Но вы его видели?

Ковальчук долго молчал.

— Видел, — сказал он.

Они спустились к раскопу, и там Корнеев впервые увидел, как копают правильно.

Раскоп был вскрыт по всем правилам: ровные вертикальные стенки, оставленные бровки с чёткой стратиграфией — тёмный дёрн, светло-серая линза, потом жёлтая материковая

глина; в углу — реперная рейка с чёрно-белыми делениями; по бортам — колышки с бирками, шнуры, разбивка на квадраты. На дне, в дальнем конце, была расчищена площадка, и на этой площадке лежала находка, накрытая плёнкой и при-
давленная по краям кирпичами.

Возле неё сидела на корточках девушка в синем дождевике, с обмотанным вокруг шеи шарфом, и что-то писала на планшете. Услышав шаги, она подняла голову.

Ей было лет двадцать пять. Круглое лицо, покрасневший от ветра нос, короткие светлые волосы, торчащие из-под капюшона, и очень внимательные, светлые, злые глаза человека, которому три недели никто не верит.

— Инна Сотникова, — сказала она, поднимаясь и вытирая руку о дождевик перед тем, как протянуть. — Аспирантка. Это я вызвала полицию двадцать девятого. — И сразу, без перехода, глядя на Корнеева: — Вы кто?

— Корнеев, — сказал он. — Внештатный консультант.

— По каким вопросам консультант?

— По необъяснимым, — сказал Корнеев.

Инна посмотрела на него ещё внимательнее.

— Хорошо, — сказала она наконец. — Наконец-то. Я уже думала, что вас не бывает.

— Кого?

— Тех, кто приезжает по необъяснимым вопросам, — сказала она. — Три недели я объясняю всем, что тут происходит нечто, чего не объясняет ни одна известная мне мо-

дель, и все смотрят на меня как на девочку, которая перезанималась. Включая Вадима Аркадьевича. Особенно Вадима Аркадьевича.

— Ржевский?

— Ржевский, — кивнула она. — Начальник экспедиции. Доцент. Он сейчас в Смоленске, будет к обеду. — Она сказала это ровно, но в слове «доцент» Корнеев отчётливо услышал то, чего в нём быть не должно.

— Расскажите мне про двадцать девятое, — сказал Корнеев. — С момента, как проснулись.

Инна села на край раскопа, свесив ноги в резиновых сапогах, и стала рассказывать — коротко, точно, по пунктам, как рассказывают люди, привыкшие писать отчёты. Проснулась в шесть сорок. Была её очередь ставить воду. Вышла из вагончика, было туманно, туман низкий, метра два, гребень над туманом. Пошла к костровищу за котелком и увидела, что на гребне что-то лежит. Подумала: спальник, кто-то дурака валяет. Крикнула. Никто не отозвался. Пошла наверх.

— И? — сказал Корнеев.

— И увидела, — сказала Инна. Она смотрела в раскоп, не на него. — Я потом, знаете, всю ночь пыталась сформулировать, что именно я увидела, потому что в первые секунды мозг отказался. Я подумала: манекен. Потом: чучело. Потом я поняла, что мешало. — Она подняла глаза. — Пропорции. У человека, если он лежит на спине, грудь — самая высокая точка. А у него самая высокая точка были колени. И лицо.

А между ними — провал. Он был как... как если положить куклу и наступить в середину.

— Вы к нему подходили?

— На метр. Не ближе. Я не трогала, я вызвала. — Она чуть усмехнулась. — Я, знаете, всё-таки археолог. Я умею не трогать.

— Что вы видели вокруг него?

— Иней, — сказала Инна без запинки. — Полосу битой морозом травы, шириной от метра восьмидесяти до двух двадцати, я её потом измерила рулеткой, у меня есть замеры и фото с масштабной линейкой. Полоса шла от него по склону вниз, мимо южного борта раскопа, и уходила в направлении села, на юго-запад. Я прошла по ней сто двадцать метров, дальше она стала прерывистой и пропала на пашне. — Она перевела дыхание. — И следы. На отвале и на глине по борту раскопа. Босые. Я сделала тридцать четыре снимка и два гипсовых слепка, у меня и гипс был, мы им фиксировали отпечаток ткани в погребении.

Ковальчук за спиной Корнеева тихо крикнул.

— Слепки где? — спросил Корнеев.

— Один я отдала полиции, — сказала Инна. — Второй у меня. В вагончике, в ящике под койкой. — Она посмотрела на майора. — Виталий Григорьевич, вы не сердитесь, но я оставила себе, потому что первый вы у меня забрали и он лежит в райотделе в пакете и никто с ним ничего не сделал. Я звонила.

— Не сделал, — согласился Ковальчук угрюмо. — Потому что для трасологии нужно с чем сравнивать. А сравнивать не с чем. Босых ног у нас в деле нет.

— Тогда я вам скажу, с чем сравнивать, — сказала Инна, и голос у неё стал звонкий, лекторский, и Корнеев понял, что вот сейчас будет главное. — Я его сравнила. С костяком.

Она соскользнула в раскоп, прошла по дну и остановилась над накрытой плёнкой площадкой.

— Подойдите, — сказала она. — И, пожалуйста, по бровке, не по площадке.

Корнеев спустился по земляным ступенькам. Ковальчук остался наверху; Барсуков присел на корточки на краю, как школьник.

Инна сняла кирпичи, откинула плёнку.

В расчищенном грунте лежал скелет.

Он лежал не так, как лежат в кино: не белый, не чистый. Кости были того же цвета, что глина, — рыжевато-жёлтые, землистые, местами почти неотличимые от грунта, и от этого казались частью почвы, вырастающей из неё. Но расчищены они были идеально, каждая косточка обведена ножом-совком, вокруг подрезаны бортики, и рядом лежали бумажные бирки с номерами.

Скелет был большой.

— Мужской, — сказала Инна. — Возраст на момент смерти по швам черепа и зубам — от тридцати пяти до сорока пяти. Рост восстановленный по длинным костям — сто

девяносто три сантиметра. Плюс-минус три. — Она подняла палец. — Дмитрий Алексеевич, я вам объясню, почему я это повторяю всем как заведённая. Средний рост мужчины в этой популяции в девятом-одиннадцатом веках — сто шестьдесят пять, сто шестьдесят восемь. Сто девяносто три — это не крупный человек. Это выдающийся. Это один на несколько тысяч. Он был выше своих современников на голову с лишним.

Корнеев смотрел на кости и молчал.

— Дальше, — сказала Инна. — Морфология. Прижизненные изменения скелета: гипертрофированные точки прикрепления мышц на плечевом поясе, деформация позвонков, артрозные изменения тазобедренных суставов. Он всю жизнь носил тяжести. Много и постоянно, с молодости. И дальше: сросшиеся переломы. Три ребра, левая ключица, правая локтевая. Всё старое, всё сросшееся, всё до смерти. — Она посмотрела на Корнеева. — И самое главное. Стопа. У него длина стопы по костям — тридцать один с половиной сантиметр.

Барсуков наверху шумно втянул воздух.

— А слепок, — сказала Инна очень спокойно, — тридцать два. С учётом того, что отпечаток босой ноги в мягкой глине всегда чуть больше самой стопы за счёт расплыва грунта, — совпадение полное.

Стало тихо. Где-то далеко за полем ровно гудел карьер.

— Вы это написали? — спросил Корнеев.

— Я это написала, — сказала Инна. — И отдала Вадиму Аркадьевичу. И знаете, что он сделал? — Она усмехнулась, и усмешка получилась злая и совсем не весёлая. — Он сказал: Инна, вы понимаете, что вы предлагаете написать в научном отчёте? Вы предлагаете написать, что покойник встал и ушёл. Он сказал: вы губите себе биографию, вам ещё защищаться. Он сказал: у нас тут криминальный труп, тёмная история с копателями, а если мы к этому пришьём мистику, то нам закроют разрешительный лист и передадут раскопки кому-нибудь другому, и всё, что мы тут откроем, откроют без нас. — Инна опустила голову. — И вот в этом, к сожалению, он абсолютно прав. Все, кто нам мешает, — правы. Это самое противное в моей жизни за последние три недели.

Корнеев присел на корточки над скелетом, глядя на огромные кости, на глиняную рыжину, на бирки с номерами.

— Инна, — сказал он. — А теперь скажите мне то, чего я ещё не спросил.

Она подняла глаза.

— Что?

— Вы мне рассказали про кости в раскопе, — сказал Корнеев. — Красиво рассказали, точно. А я тут третий час и уже понял одну вещь: вы боитесь. Не костей. Костей вы не боитесь, вы с ними работаете. Вы боитесь того, что нашли где-то ещё. — Он смотрел на неё снизу. — Что вы нашли, Инна?

Инна Сотникова очень долго молчала.

Потом посмотрела на Ковальчука наверху, на участково-

го, потом опять на Корнеева. И сказала тихо:

— Второй костяк. В том же кургане, в двух метрах отсюда. И он не отсюда. Он вообще не отсюда, понимаете? Он моложе на девять веков.

Второй костяк лежал под навесом, в вагончике, в двух пластиковых ящиках, аккуратно, каждая кость в отдельном пакете с биркой.

Инна разложила их на столе, застеленном чистой калькой, и выстроила в анатомическом порядке — быстро, без запинки, как человек, делавший это много раз. Череп. Ключицы. Рёбра, по счёту. Позвонки. Тазовые. Длинные кости. Кисти рассыпью в отдельном пакете.

Скелет получился маленький.

— Женский, — сказала Инна. — Пол определён по та-
зу, надёжно. Возраст: пятнадцать-шестнадцать. Зубы: третьи
моляры не прорезались, корни вторых не закрыты. Эпифи-
зы длинных костей не приросли. Рост около ста пятидесяти
двух сантиметров. — Она говорила ровно, но пальцы её при
этом всё время что-то поправляли, передвигали пакетик на
миллиметр, и Корнеев видел, что руки у неё занимаются де-
лом, чтобы не дрожали. — И вот теперь смотрите, Дмитрий
Алексеевич. Вот на что смотреть.

Она подвинула к нему поднос с мелочью.

На подносе лежали: три ржавых, скрюченных гвоздя;
квадратный кусок стекла; сгнивший до кожуры обрывок че-
го-то тёмного; жёлтая пуговица; и жёлтая круглая штука с

зубчатым краем.

— Погребальный инвентарь, — сказала Инна с нехорошей улыбкой. — Итак. Гвозди — строительные, гранёные, машинного производства. Кусок оконного стекла. Пуговица — пластмасса, галалит, если точнее, с четырьмя отверстиями, такие делали с двадцатых по пятидесятые. И вот это. — Она подцепила пинцетом жёлтую зубчатую штуку. — Это, Дмитрий Алексеевич, зубчатое колесо от карманных часов. Латунь. Штамп.

Корнеев смотрел на поднос.

— Двадцатый век, — сказал он.

— Двадцатый век, — подтвердила Инна. — Причём даже без анализов: галалитовая пуговица датирует лучше всякой радиоуглеродки, потому что она характерна и её нельзя случайно занести в закрытый комплекс. А комплекс был закрытый. Я его вскрывала сама, я видела стратиграфию. — Она положила пинцет. — Вот это и есть вещь, из-за которой я три недели плохо сплю. Не костяк. Стратиграфия.

— Объясните, — сказал Корнеев. — Медленно и как ребёнку. Я городской.

Инна взяла лист бумаги, перевернула его чистой стороной и стала чертить карандашом.

— Курган — это слоёный пирог, — сказала она. — Вот материк, жёлтая глина, в неё вкопаны погребения. Вот сама насыпь — её носили землёй с округи, и в ней видно, как она слоилась: тонкие полосы, прослойки дёрна, углистые линзы.

Вот дневная поверхность древняя, вот дёрн современный. — Она рисовала быстро и уверенно. — И самое важное: если насыпь целая, то слои в ней идут непрерывно. Ненарушенные. Как страницы в книге.

— А если кто-то копал?

— Тогда видно, — сказала Инна. — Всегда видно. Копаная яма — это перемешанная земля. Слои в ней сбиты, перевёрнуты, вперемешку: тёмное с жёлтым, дёрн внизу, глина сверху. Такое пятно на фоне ровных слоёв видно, как заплатка на брюках. Мы это называем — впускная яма. — Она поставила карандашом крест. — И вот здесь, в периферии Большого Волота, есть впускная яма. Большая. Глубиной двадцать, диаметром около метра шестидесяти. И в ней лежит она.

Инна показала на маленький скелет на кальке.

— И теперь, — сказала она, — самое главное, из-за чего я не сплю. — Она отложила карандаш. — Впускная яма — это нормально. Люди тысячи лет подхоранивали в старые насыпи. Ямы бывают древние, бывают средневековые, бывают военные — тут же война, тут в курганах и окопы копали, и блиндажи. Ничего сверхъестественного в яме двадцатого века нет.

— Но?

— Но она вкопана не куда попало, — сказала Инна. — Она вкопана точно в то место, где в древности было вкопано другое погребение. То самое, из которого мы вынули первый

костяк, большой, — оно рядом, в двух метрах. И вот эта девочка, — она осторожно, кончиком пальца, тронула бумажный пакет с черепом, — эта девочка лежит не как попало. Она лежит по обряду. Дмитрий Алексеевич, я не мистик, я вам сейчас говорю чистую археологию: положение тела в её яме воспроизводит положение тела в древнем сопутствующем погребении. Скорченно на правом боку, головой на северо-запад, лицом к центральному погребению. Руки согнуты и подведены к лицу. То же самое, до градуса. Я мерила компасом и то, и это.

Корнеев смотрел на маленькие кости и молчал.

— То есть, — сказал он наконец, — тот, кто её тут положил, знал, как надо.

— Знал, — сказала Инна. — И это не мог быть случайный человек. Дмитрий Алексеевич, в сороковые годы этот обряд не был описан в литературе так подробно, чтобы по книжке воспроизвести. И даже сейчас, чтобы положить так, надо либо иметь публикацию под рукой, либо... — Она замялась.

— Либо помнить, — сказал Корнеев.

— Либо помнить, — тихо согласилась Инна.

Барсуков, стоявший у двери вагончика, вдруг громко и неловко закашлялся.

— Извиняюсь, — сказал он. — Дмитрий Алексеевич, а можно я спрошу... Инна Сергеевна, а можно узнать... Она в чём была? Одета?

Инна посмотрела на него.

— От одежды почти ничего, — сказала она. — Грунт кислый, органика уходит. Есть тлен по контуру, есть эта пуговица, есть фрагменты обувной подошвы. Обувь, кстати, была: кожаная, самодельная, с подшитой подошвой из автомобильной покрышки. Такое делали в войну и после. — Она помолчала. — И вот ещё что. Позвольте, я скажу это один раз и больше не буду.

— Говорите, — сказал Корнеев.

Инна взяла со стола пакетик с двумя мелкими косточками кистей и подняла его к свету.

— Тут были следы прижизненного повреждения ногтевых фаланг, — сказала она. — Множественные. И у второго костяка тоже, у большого, только у него — застарелые, годов за много до смерти, а у неё свежие, предсмертные. Такие быва- ют, когда человек скребёт руками твёрдое.

Никто ничего не сказал.

— Я передала кости антропологу, — продолжила Инна ровно. — Лия Максимовна Самойлова, из Москвы, она была у нас в конце сентября и приедет опять. Она независимый специалист, у неё имя. Она посмотрела и сказала: девочка, вам не надо это никуда писать, вам надо это отдать в полицию, а самой забыть. И я отдала. Виталий Григорьевич, — она повернулась к Ковальчуку, — я вам восьмого октября написала заявление на двух листах. Вы мне ответили постановлением. У меня есть копия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.